

ПОРТРЕТ ЦВЕТАЕВОЙ

Коля Рыбин был очень открытым и доверчивым ребенком. С раннего детства его привлекало все красивое – цветы, деревья, поля и реки. Он мог часами смотреть на заход солнца, на то, как муравей ползет по березовому стволу, на то, как клонятся травинки под летним ветерком.

Мальчику хотелось запечатлеть все то, что он видел, на холсте или на листе бумаги. Ему было крайне обидно, что солнце зайдет, и все эти краски потухнут, что никто-никто не успеет их запомнить.

Наверное, поэтому его так влекла к себе живопись. Не художественная фотография, а именно живопись, потому что Коля хотел не просто остановить мгновение – он пытался воссоздать свой мир.

Родители Коли были очень бедными и больными людьми. Они завели сына на пороге сорокалетия, несмотря на то, что Колиной маме рожать было категорически запрещено. Через три года после рождения здорового мальчика мама внезапно умерла, а отец с ребенком один справиться не мог, поскольку сам передвигался в инвалидной коляске.

Так вот и пришлось Коле поселиться сначала в обычном детском доме, откуда его через полгода перевели в Дом одаренных детей.

В этом доме царил особая обстановка. Железные узкие койки с панцирными сетками и жидкая безвкусная манная каша на воде вовсе не воспринимались детьми как что-то ужасное. Скорей наоборот. Воспитательницы в детдоме подобрались на удивление талантливые, душевные, интеллигентные, равнодушные к живописи и музыке, считающие своих подопечных новыми моцартами и рафаэлями.

Когда Коля узнал, что умер папа, он не особенно убивался – папа был настолько болен, что давно уже должен был умереть.

Одна из воспитательниц, Ирина Николаевна, женщина удивительно яркая, красивая и неординарная, часто читала детям стихи. В наше время такая красавица могла бы сделать себе карьеру фотомодели. Но школьные годы нашего героя пришлось на то относительно благополучное время, которое в дальнейшем назвали «застоем», и фотомоделей тогда не было – были честные советские труженицы. Красивая и образованная молодая женщина, окончившая провинциальный филфак, убежала из сельской школы в нищий детдом, где почти не было никаких удручающих идиотских бумаг и классных журналов и где обитали яркие, талантливые дети.

Вскоре Коля понял, что не может жить без художественного чтения воспитательницы, и часто просил Ирину Николаевну почитать ему стихи, которых она на память знала великое множество.

Читала стихи воспитательница, однако, очень своеобразно, подражая Татьяне Дорониной, пластинку с голосом которой слушала едва ли не ежедневно. Но дети никогда не слышали раньше стихов в таком безумном исполнении и, конечно же, были убеждены, что читать стихи нужно именно так, с таким вот артистическим придыханием.

Однажды, когда он уже учился в шестом классе, Ирина Николаевна принесла ему папку с пожелтевшими машинописными листочками. Она рассказала, что эти стихи напечатаны только за границей, однако в них нет ничего того, за что могли бы их не напечатать и в Советском Союзе. Это были стихи о любви и смерти, испещренные бесконечными восклицательными знаками, стихи совершенно особенные, не похожие на стихи других поэтов. Коля уже знал, что автор стихов – женщина, которая долго жила в эмиграции, куда поехала за своим мужем, а потом вернулась на родину, опять же вслед за мужем, и покончила с собой.

– Наверное, самые сильные русские стихи написала именно она, – сказала как-то Ирина Николаевна.

И Коля поверил ей.

А потом, когда он уже учился в художественном училище, ходил в библиотеку и выписывал в мятую тетрадочку стихи этой поэтессы, тем более что училище и областная библиотека находились через дорогу друг от друга. Тогда ему и пришла в голову мысль о создании ее портрета. Коля в это время и сам пробовал писать стихи, но, к счастью для себя, быстро понял, что поэзия – не его стезя.

Он сделал не меньше десяти портретов Цветаевой – и карандашом, и пастелью, и акварелью, но все это были только этюды к той большой работе, которая должна была осуществиться только на холсте и о которой он думал днями и ночами.

Жадный и блатной художественный фонд выделил молодому выпускнику училища мастерскую на чердаке старого гнилого двухэтажного дома – с падающей штукатуркой, нелепыми выбитыми стеклами и неприлично протекающей крышей. Конечно, это было исключением из правил. Рыбину неслыханно повезло, повезло так, как не везло никому и никогда – в этот год вышло постановление ЦК КПСС о работе с молодыми талантами, и он как раз под это постановление попал. Пятерым молодым художникам области дали в аренду мастерские, и отдел культуры облисполкома отчитался об этом благодеянии. В списке из пятерых был и Николай Рыбин. Именно там, в этой мастерской, он и написал портрет Цветаевой.

Это был сравнительно большой холст размерами один на полтора метра, на котором поэтесса была изображена сидящей на берегу Камы на фоне сурового обрывистого берега. Ветер колебал ее седые волосы, глаза были полузакрыты. Во всем ее виде ощущалась какая-то нервозность, ничем не кончившееся напряжение.

Картину хвалили все, кто ее видел, однако неумолимый выставком не взял ее на выставку молодых художников, посчитав работой пессимистической и упаднической. Стены выставочного зала украшали портреты металлургов и доярок, комбайнеров и крановщиц. Но не только конечно! Там были и писатели, и ученые, и артисты, и врачи – все, кого дежурно называли «интеллигентами», но все они были удивительно похожи на тех же механизаторов и доярок – такие же устремленные в будущее взоры и решительные, счастливые лица.

И все же в советское время, как бы мы его ни хаяли, талант не пропал. Коле не только выделили мастерскую, но и картины его на выставки брали, и брали в достаточном количестве. Конечно, портрет Цветаевой выставить было нельзя, зато другие Колины работы – натюрморты и пейзажи, выполненные в самых разных манерах (акварель, пастель, масло), попадали на выставки и всегда вызывали внимание профессионалов.

Но, как часто бывает, «непоказная» Цветаева именно благодаря запрету стала притчей во языцех в творческой среде небольшого провинциального города. Не было, пожалуй, ни одного художника или писателя, который бы хоть один раз не посетил мастерскую Рыбина (а мастерская у него потом уже была не на чердаке, а в престижном районе города, в шестизэтажном сталинском доме), дабы лицезреть этот портрет.

Рыбин вел изостудию при Дворце пионеров, которая позволяла ему как-то сводить концы с концами. Он любил детей, и они платили ему взаимностью.

Николай Иванович был еще сравнительно молодым человеком, когда государство, воспитавшее его, кануло в небытие и на его месте появилось что-то странное, бесформенное, где все смешалось в одном непонятном потоке.

В девяностые годы в изостудию перестали ходить дети, и художник Рыбин остался без средств к существованию. Именно тогда на улицы города вылезли ремесленники с мольбертами, предлагавшие случайным прохожим рисовать с них портреты. Другие ремесленники встали возле чугунной ограды университетского скверика со своими бездарными натюрмортами и пейзажами. Наступило время, когда каждый мог назвать себя художником, писателем, ученым, экономистом, целителем, экстрасенсом (нужное подчеркнуть!). Лишь бы фантазия не подвела.

Рыбин никак не мог понять, почему люди все-таки иногда покупают картины у этих маляров. Он и его приятели называли таких энтузиастов карандаша и кисти «шпаной». Вся беда заключалась в том, что очень мало кто понимал, чем все-таки картины Рыбина лучше того, что делали эти дилетанты, стоящие у чугунной ограды.

Однажды Коля преодолел отвращение и отнес к университету несколько своих пастельных работ. Он никогда не забудет этот яркий морозный январский день. Напрасно он ошивался возле ограды до восьми часов вечера – никто не купил ни одной его пастели. Почему? – недоумевал двадцативосьмилетний художник. Неужели он так плохо рисует? А может быть, дело обстоит обратным образом – он слишком хорошо рисует, чтобы его покупали?

Сомнения в одночасье рассеял Лев Борисович Герценберг, преподаватель литературы художественного училища. Увидев Колю в обществе «шпаны», он сильно удивился и чуть не заплакал от огорчения.

– Забиайте, скоее, Ибин, свои яботы, – закричал Лев Борисович. Он не выговаривал звуки «р» и «л». – Давайте, я вам помогу. Пойдем юшке кофе поьем.

В подвале маленького затрапезного кафе Лев Борисович угостил Колю чашкой кофе с эклером и философски отметил:

– Неужели вы не понимаете, Коя, что воюете сейчас не на своем пое? Умою вас – не позойтесь, бьёсьте эту коммейцию, и исуйте, исуйте, Коя!

Рыбин сидел, уставившись в маленькую фарфоровую кофейную чашечку шестигранной формы и чувствовал себя провинившимся школьником. Преподаватель застал его за низким, постыдным делом, и теперь ему было стыдно и неловко. Как он мог так поступить! И как все-таки прав Лев Борисович!

– Простите меня, Лев Борисович, – выдал он, наконец. – Я сам не понимаю, почему это произошло со мной.

– Бог пьёстит, Коя, – ответил преподаватель. – Я увеен – это минутная сябость. Возьмите себя в юки, в юки! Чеез сто ет юди будут говоить – это же Ибин, Ибин! Никаой Ибин! Это яботы самого Ибина!

С тех пор больше никто никогда не видел Николая, торгующего своими пастелями и акварелями.

2

Коля, конечно, не умер от голода, хотя в голодные обмороки падал несколько раз. В мастерскую постоянно приходили люди, которые поддерживали художника. Особенно он нравился сердобольным женщинам предпенсионного возраста и девочкам-подросткам. Девочкам он преподавал до Дворце пионеров, а дамы более чем бальзаковского возраста находили его сами. Приносили ему кто пирожок, кто булочку, кто бутылку кефира. Коля не принадлежал к богеме – совсем не пил спиртного, не курил, не бегал за женщинами. Правда, некоторые дамы подчас оставались на ночь в его мастерской, но скорей по собственной инициативе, чем в результате настойчивых просьб хозяина. Женщины зачастую строили иллюзии по поводу талантливого художника, мечтая связать с ним свою жизнь. Семейные узы Рыбина совсем не привлекали. Он был красив и статен, нежен и мягок, несомненно талантлив, весьма умен, интеллигентен, не лишен хозяйственной жилки. Как многие художники, умел многое сделать своими руками, а женщины эту черту всегда любили и любят, но... чего-то в нем все-таки не хватало. Он не был заботлив и, казалось, совсем не нуждался в женщине. То есть не искал женщин специально и ни к кому никогда не привязывался.

Ирина Николаевна тоже частенько посещала Колю. Умная и образованная, красивая и стройная, она почему-то так и не вышла замуж, из детского дома ушла и устроилась методистом в библиотеку. Она частенько приносила Коле интересные книги и восторгалась его живописными работами. Именно она и поведала ему, что в столице есть музей Цветаевой, который настоятельно советовала посетить.

В тот исторический день конца старого тысячелетия, когда первый президент России заявил о досрочном уходе со своего поста, Коле Рыбину исполнилось тридцать шесть лет.

К тому времени он немножко поправил свое материальное положение, поскольку в изостудии вновь появились дети. Может быть, это произошло потому, что их родителям начали потихоньку выплачивать зарплату. Может быть, профессия художника вновь приобрела для кого-то интерес. Может быть, искусство как таковое вновь потянуло к себе людей, разочаровавшихся во всевластии золотого тельца.

Лев Борисович посоветовал Коле сдавать родительскую квартиру, а самому жить в мастерской. Неизбалованный Рыбин внял его совету, стал спать на старом топчане и готовить еду на электрической плитке. Зарплаты в Доме пионеров и арендной платы за квартиру ему было достаточно, чтобы жить припеваючи. Он стал покупать не только хлеб и овсянку, но и сахар, шоколад, пирожные.

Накопив немного денег, он решил осуществить свою мечту – подарить портрет Цветаевой музею. Нет, Коля вовсе не разочаровался в живописи и в великой миссии художника, но все же картины, стоявшие в чулане мастерской мертвым грузом, стали его раздражать. Одна из дам, иногда ночевавших у Коли, мрачная одинокая художница Марина, тщательно, но не совсем удачно скрывающая свой возраст, сказала ему как-то после рюмки водки (пила она, разумеется, одна, хотя и в присутствии Рыбина):

– А ты не думал, что станет с этими картинами после твоей смерти?

Коля был шокирован этим вопросом. Он действительно никогда не думал о смерти. Ему казалось, что он еще долго, очень долго будет покупать холсты и подрамники, выдавливать краски из тюбиков, писать свои работы. Своим вопросом Марина нарушила его безмятежность. Действительно, нужно было что-то делать. Он знал, что многие его коллеги относятся к нему не слишком дружелюбно. Марина, конечно, была не в счет, она не была членом Союза и художником особенно сильным не была, ни на какую мастерскую и претендовать не могла, но, если бы он умер, его мастерскую сразу же бы отдали другому художнику, одному из самых ушлых, пробивных, блатных, и этот ушлый, пробивной и блатной, очутившись в этой просторной сталинке с высоким потолком первым делом, наверное, избавился от Колиных картин.

Портрет Цветаевой все хвалили, но никто его так и не купил, даже за бесценок! А в музее он мог бы висеть вечно! Это была бы память!

Коля долго упаковывал портрет в старый пододеяльник, оставшийся еще от родителей, и в один из майских теплых вечеров отправился на ночном поезде в Москву. Ехал он в плацкартном вагоне, на верхней полке, а портрет лежал на багажной полке, располагающейся чуть выше, куда обычно проводники кладут подушки и матрасы.

Добираться с этим грузом было не так утомительно, как ему казалось. Картина была нетяжелой, просто нести ее было неудобно. Но Рыбину повезло – от Курского вокзала до Арбатской ехать на метро всего две остановки.

Музей он нашел не сразу. Наконец, вошел в старинный двухэтажный особняк.

– У нас санитарный день, мужчина, – сказала пожилая смотрительница в очках. Она совсем не была похожа на москвичку, во всяком случае, Коля считал, что в Москве женщины не должны носить старые заштопанные кофты. – Музей не работает. Что это у вас там завернуто?

– Это портрет Марины Ивановны. Я хочу подарить его музею.

Женщина недоуменно посмотрела на него. Наконец, выдавила:

– Зачем?

Рыбин стал сбивчиво объяснять пожилой работнице, зачем приехал сюда из волжского города, что он художник, любит стихи Цветаевой с детства и вот привез в подарок музею ее портрет.

В дверях появился охранник, одетый в камуфляжную форму. От него пахло табаком и кариозными зубами.

– Ну, откройте, откройте, – пробурчал он. – Посмотрим, что там у вас.

Коля снял пододеяльник.

– Кто это? – спросил охранник.

– Как кто? – недоуменно спросил Рыбин. – Марина Ивановна Цветаева.

– И кто ее нарисовал?

– Я нарисовал.

В этот момент появилась еще одна пожилая женщина, более интеллигентного вида, одетая в такую же заштопанную кофточку, что и первая, только более новую.

– Виктория Петровна, этот человек нам картину предлагает, – сказала ей пожилая смотрительница. – Виктория Петровна – заместитель директора музея, – проговорила она, обращаясь к Николаю.

Виктория Петровна скривила тонкие губы, подозрительно посмотрела на Рыбина.

– Мы не принимаем подарков, – сказала она. – Но нам нужны спонсоры. Если хотите оказать нам материальную помощь, то я сейчас дам вам реквизиты. Вы можете перевести деньги по безналичке.

– Вы меня неправильно поняли, – ответил бедный художник. – Я хочу подарить вам портрет Цветаевой. Я вложил в него свою душу. Я хочу, чтобы он был кому-то нужен.

– Но мы не можем выставить эту картину в музее! У нас не выставочный зал. У нас сотни картин в запасниках пылятся!

– Извините, – тихо сказал Коля и стал упаковывать портрет в пододеяльник.

– Когда будете уходить, придерживайте дверь, – попросил охранник.

3

Рыбин и не заметил, как оказался на Арбате. Он сел на скамейку, поставил рядом портрет. Пододеяльник размотался, но он и не замечал этого. Ему было тоскливо и горько.

– Это Цветаева? – услышал он внезапно.

Рядом был мужчина средних лет в желтой бейсболке. Это он задал вопрос. Рядом с ним стоял еще один человек, в огромных солнцезащитных очках.

– Почему? – спросил он вновь, не дождавшись ответа.

– Что? – не понял Рыбин.

– Сколько стоит? – повторил мужчина в бейсболке.

– Я не знаю... Я плохо знаю цены.

– О, Цветаефф! – проговорил человек в темных очках.

– Не хотите купить, Джон? Прекрасный подарок, память о России. Давайте за триста долларов, а?

В руках человека в бейсболке мелькнули три зеленые бумажки.

Рыбин не умел торговаться. К тому же ему теперь так не хотелось возвращаться домой с портретом, что он готов был продать его за бесценок.

– Скажите, а... на наши это сколько будет? – спросил он.

Человек в бейсболке усмехнулся.

– Люблю я художников, – сказал он. – Талантливые люди. Но пьют ужасно. И с арифметикой всегда не в ладу. В переводе на рубли чуть больше девяти тысяч. Устроит?

Рыбин сдавал квартиру за семь тысяч в месяц. «Ну что, – подумал он. – Девять так девять. Куплю на них красок, за мастерскую заплачу. Не так это и мало. Но портрет назад я не повезу».

Джон в темных очках оказался коллекционером из Калифорнии. В руках у Коли возникла золотистая визитная карточка американца и три зеленоватые бумажки с изображением мужчины с длинными волосами.

Он засунул бумажки в карман, дошел до Смоленской площади, полюбовался величественным зданием МИДа. Потом не спеша добрался по Садовому кольцу до Крымского моста, прокатился на теплоходике по Москве-реке, а в пять часов вечера уже был Курском вокзале.

Коля Рыбин часто представляет свою картину, висящую в калифорнийском доме. И это радует его. Все-таки не пропал его труд, смотрят на картину американцы, любят.

А триста долларов так и лежат в кармане пиджака. Сейчас Николай живет хорошо, ему денег вполне хватает. А если уж тяжело будет – дойдет до соседнего банка, обменяет бумажки. Нынче, говорят, и курс доллара больше стал. Ведь это так здорово – пролежали деньги не в банке каком, а в потертом кармане пиджака, сшитого еще на советской фабрике «Маяк», а теперь это уже вовсе не девять, как вещал мужичок в желтой бейсболке, а чуть ли не двадцать тысяч рублей.

Чудны дела твои, Господи.

ПОТЕРПИ, СЫНОК!

Рудик Мякишев был мягким и доброжелательным мальчиком, всегда избегал каких бы то ни было конфликтов, но жизнь его всегда складывалась таким образом, что трудности всегда находили его. Как бы ни стремился Рудик к спокойной, размеренной жизни, как бы ни мечтал найти тихую заводь, возле которой можно было бы часами сидеть и смотреть на рыжих плавунцов, лениво бегающих по водной глади, ничего у него из этой затеи не получалось. По-видимому, планида у него была совсем иная, не под тем созвездием родился субтильный, мягкохарактерный и впечатлительный мальчик, не так изначально встали небесные тела, как бы ему хотелось.

Мама Рудика, Изольда Константиновна, всегда испытывала мучительное волнение за судьбу своего единственного сына. Однажды на очередном медицинском осмотре, в кабинете психоневролога, в ответ на вопрос, не испытывает ли она тревогу, женщина рассмеялась: «Конечно, испытываю! Живя в Российской Федерации, не испытывать тревогу может только камень». Пожилой психоневролог улыбнулся, почесал седую кривоватую неопрятную бородку, поправил на волосатом ухе дужку очков, перемотанную голубой изолентой, и произнес: «Что же, теперь я могу смело вас отпустить. Вы – образец психической нормы».

А тревожится ей было из-за чего. Изольде Константиновне врачи категорически запретили рожать, поскольку она запросто могла умереть во время родов. Но тревожная женщина неожиданно проявила несвойственное (а может быть, как раз свойственное?) ей мужество. Она дала расписку врачам, что была предупреждена о возможных последствиях родов.

Люди тревожные и тонко чувствующие часто умеют проецировать свою жизнь в будущее как никто другой. Молодая женщина отчетливо и зримо, даже как-то кинематографически точно представляла, как будет возвращаться с работы по Звездинскому садику, а на лавочках будут сидеть мамы и бабушки со своими чадами. Она будет смотреть на этих беспомощных и веселых маленьких существ и сознавать, что у нее никогда не будет этого целокупного счастья – ни пухлых ручек с кожными браслетиками на запястьях, ни разноцветных комбинезончиков, ни молочных кухонь. Она будет ощущать себя сухой евангельской бесплодной смоковницей, одинокой и несчастной в бескрайней иудейской пустыне. У нее была любимая работа, но... что такое любимая работа по сравнению с радостью материнства?

Изольду Константиновну не страшила смерть во время родов, но она панически боялась, что ее ребенок родится мертвым. Она всегда мечтала о девочке и уже сумела внушить себе, что родится именно девочка

(тогда еще не умели определять пол плода у беременных), но, когда на свет появился Рудик, моментально осознала, что именно появления этого мальчика она и ждала всю жизнь.

Отвратительная старая акушерка сильно напугала Зою – сказала, что у ее мальчика на голове опухоль. Родильница чуть не умерла от страха, а оказалось, что это страшное слово старушка употребила совсем в другом значении. У рожавшей была слабая матка, и головка ребенка долго не могла появиться на свет. У новорожденного на голове несколько дней синела яйцообразная гематома, которая вскоре позеленела, потом пожелтела и, наконец, совсем сошла на нет.

Гематома рассосалась, но тревога Изольды Константиновны рассосаться не могла. В полгода мальчик перенес сильную кишечную инфекцию и чуть не умер. Мама чуть не умерла вместе с ним.

А потом заболела бабушка, Изольдина мама, и уже не могла сидеть с Рудиком, когда Зоя была на работе.

Зоя отвела Рудика в ясли. Мальчик плакал, не хотел оставаться за гнилым мокрым забором.

«Ну ты посмотри, Рудик, – говорила Изольда Константиновна. – Какие добрые, ласковые тети здесь работают. Как они любят деток! Вот Марина Николаевна, например. Правильно я говорю?»

Марина Николаевна улыбалась, поправляла на толстой шее желтый, с золотым рисунком, полупрозрачный шарфик. Она действительно была доброй женщиной и любила детей. Но маленький Рудик не понимал этого. Ему никто не был нужен, кроме мамы. Наверное, тогда он уже чувствовал, что никто никогда его так, как мама, уже не полюбит.

Марина Николаевна отвела Рудика к песочнице. Она сел на гнилой деревянный край песочницы, потянулся за сиреновой формочкой с изображением веселой рыбки, но тут почувствовал, что кто-то стукнул его по руке. С интересом Рудик обнаружил, что била его красивая девочка с длинными ресницами и кудрявыми волосами. Она никак не могла простить новенькому, что он взял ее формочку.

Вскоре в песочнице показался нелепый и brutальный толстяк в вязаной шапке. Он сразу же стал сыпать Рудику за шиворот песок, а когда Рудик попытался сопротивляться, ударил его по носу толстой неуклюжей лапой...

Рудик, однако, быстро понял, в чем состояла его ошибка. Он просто сел не в ту песочницу. На территории детского комбината была еще одна песочница, маленькая, почти без песка, где сидели ребята попроще. Они отличались миролюбивым характером, и сразу же стали вовлекать мальчика в свои игры.

Рудик осознал, что этот загадочный внешний мир вовсе не так плох и не так враждебен, как ему показалось вначале. Надо просто находить людей, подобных себе, которые воспринимают мир похоже на тебя. И тогда нарисованный на стене детского комбината злобный зубастый Волк перестанет быть страшен для вечно испуганной Красной Шапочки, которая так напоминала ему его маму, Изольду Константиновну. Должна же наконец Красная Шапочка понять, что никакого страшного волка вовсе не существует, а существует только шершавая высохшая масляная краска, наполовину смешавшаяся с голубиным дерьмом.

Уже потом, в юные и зрелые годы, Мякишев пытался понять причину страха. Он жалел свою маму, он так хотел, чтобы она избавилась от своей постоянной тревоги. Но он ничего не мог поделать. Мама так и продолжала волноваться, и с каждым годом все сильнее и сильнее.

В комбинате Рудик не нравилось. Сначала он просто плакал, но подчинялся маме, а потом заявил, что не хочет ходить туда. Изольда Константиновна пыталась внушить ему, что не может поступить иначе, что бабушка уже не может с ним сидеть. И всегда слышал Рудик от нее неизменное: «Потерпи, потерпи, сынок!»

А потом Изольда Константиновна стала учить сына музыке, избрав самый простой и доступный инструмент – фортепиано. У мальчика совершенно не было музыкальных способностей, но мама настойчиво водила его в музыкальную школу четыре раза в неделю. Сначала Рудик слушался, играл ненавистные гаммы и ганоны. А потом стал плохо спать, под глазами у него появились синие круги. Но он не мог ослушаться маму, потому что сильно любил ее.

«Кто знает, – говорила Изольда Константиновна, – как сложится твоя жизнь. Может быть, попадешь и в армию. А с музыкальным образованием ты будешь там на трубе играть или в барабан бить. Все же лучше, чем бегать целыми днями в противогазе или строить дачу какому-нибудь генералу».

Первые три года Рудик еще как-то терпел, а в четвертом классе, когда в общеобразовательной школе появились разные учителя и когда учиться стало на порядок сложнее, попросил маму, чтобы она освободила его от музыки.

«Мой папа, а твой дедушка, – сказала Зося, – всегда говорил о том, что жизнь складывается не из одних только роз. Надо преодолевать трудности. Потерпи, сынок!»

И Рудик терпел. Терпел долго и в шестом классе, неожиданно для себя, полюбил музыку. После экзаменов он даже почувствовал какую-то пустоту.

Большое значение для поступления в институт в те времена имел средний балл аттестата зрелости – это число складывалось с отметками, полученными за вступительные экзамены. Для того чтобы средний балл был равен пяти, нужно было иметь в аттестате не более трех четверок. Поскольку Мякишеву совершенно не давалась математика, то по алгебре с геометрией они с мамой больше чем на четверки и не рассчитывали. Третьим «четверочным» предметом было военное дело, к которому у Рудика всегда была идиосинкразия. Что же касается остальных дисциплин, то тут надо было бороться за пятерки.

С большим трудом, с помощью репетиторов, мальчик одолел физику и химию. Но делать было нечего – он поступал на биофак, куда нужно было сдавать именно эти предметы.

Факультет мама выбрала неслучайно – на него был самый небольшой конкурс. О том, кем будет сынок после университета, она и не задумывалась. Главное для нее было – избежать армии, откуда можно было и не вернуться.

В девятом классе оказалось, что такой совершенно никому не интересный и, как говорили школьники, «балдежный» урок, как черчение, который вел старый психопат по кличке «дядя Саша», идет в аттестат, а, следовательно, по черчению нужна была пятерка. Дело было вовсе не в придурковатом учителе-самодуре, который ставил двойку за единую помарку, а в том, что Рудик совершенно был лишен дара черчения и рисования. Если ему нужно было нарисовать яблоко, то он в лучшем случае изображал огурец.

Изольда Константиновна вспомнила о том, что когда-то встречалась с красивым голубоглазым инженером, который однажды даже позвал

ее замуж. Но женщина категорически отказалась – она посчитала, что появление в доме чужого мужчины травмирует психику маленького Рудика. Расстались они с инженером не очень хорошо, и все из-за того, что красавец повел себя по отношению к Зосе не совсем порядочно.

Она тогда решила, что никогда в жизни не будет звонить этому человеку. Но, когда встал вопрос об аттестате Рудика, мама преодолела свое отвращение и позвонила Николаю Ивановичу. Инженер однозначно расценил ее появление в его жизни – то, что было причиной этого звонка, он посчитал всего лишь поводом для того, чтобы возобновить легкую, к ни к чему не обязывающую связь.

Николай Иванович, однако, вскоре осознал ситуацию и важность школьного черчения для Зоси. Но он поставил дело так, что Изольде Константиновне пришлось трижды съездить на его квартиру. Первая встреча была для нее отвратительна, во вторую она неожиданно для себя пережила оргазм, а после третьей женщина невероятно испугалась, что опять привыкнет к инженеру, как к наркотику, а Рудик в это время полностью забросит учебу.

Если чертежи делал Николай Иванович, а Рудик полностью был освобожден от этого предмета, то с математикой дело обстояло куда серьезнее. Учитель математики Анатолий Ильич Кунявский, картавый и длинноносый, был равнодушен к прелестям Изольды Константиновны. Впрочем, воспитанная в пуританской семье Зося никогда и не предлагала никому подобные услуги – куда проще было ей сделать подарок или просто дать деньги. Но Анатолий Ильич от подарков отказывался, а принесенные деньги бросил в лицо Изольде Константиновне.

«Поймите меня, я не садист, – сказал он, – и знаю, что мальчику грозит армия. Поэтому я обещаю вам, что поставлю Рудику тройки по алгебре и геометрии. Но поставить “четыре” я не могу. Ведь эта отметка переводится как “хорошо”! Пускай ваш сын поступает в гуманитарный вуз, если ему не даются точные науки!»

Деньги пошли в карман жирной директрисы, которая обещала помочь маме Рудика.

Кунявский исправил двадцать ошибок мальчика в экзаменационной работе, выставил за полугодие и за год тройки. На выпускном вечере он, стесняясь, подошел Изольде Константиновне и виновато произнес: «Извините, но я не мог поступить иначе».

Мякишева промолчала, сжимая в руках аттестат Рудика. Кунявский и не предполагал, что там по его предметам стояли четверки, выставленные директрисой.

Все лето провел Рудик в пыльном городе. Предстояло сдавать вступительные экзамены. «Потерпи, сынок, – говорила ему мама, – скоро все это кончится. Тебе бы только в университет поступить».

Рудик напрягся и сдал экзамены на все пятерки.

Предстояло, однако, ехать на сельхозработы в грязную и холодную деревню. И опять мама выручила Рудика – притащила от знакомого врача липовую справку об экземе.

Учился Рудик Мякишев неплохо. Биология как наука нравилась ему, хотя природу он любил больше как созерцатель, а не как исследователь. В конце концов, удалось ему поступить в аспирантуру на кафедру ботаники. Усидчивый и добрый интеллигентный мальчик пришелся по душе пожилой профессорше.

Аглая Федоровна была хорошим научным руководителем. Рудик был уже тринадцатым ее аспирантом. Никаких особых трудностей с

научной работой он не испытывал. Ему сразу же дали понять, что нужно взять диссертации своих предшественников и написать что-нибудь похожее, только на другом материале. Работа не должна быть слишком большой и в то же время слишком маленькой – примерно сто двадцать машинописных страниц. Обзор литературы – не меньше ста авторов, а из них, желательнее, не меньше половины – иностранные авторы.

За три года аспирант Мякишев сделал добротную исследовательскую работу. Удобрял буквые деревья перманганатом калия, измерял под бинокулярным микроскопом столбчатую паренхиму листьев, проводил статистическую обработку, делал выводы. Его работа была совсем не хуже (даже лучше!) многих других кандидатских исследований.

Только вот после защиты он долго не мог оформить все необходимые документы. Рудик терпеть не мог бумажки и бюрократов. «Потерпи, сынок!» – повторяла ему счастливая мама. И Рудик терпел.

Если Мякишев и не был естествоиспытателем по своей сути, то мыслителем, хоть и доморощенным, он все-таки был. Его сильно волновала проблема сути человеческой жизни. Он хотел понять законы, заставляющие людей кучковаться в команды и стаи, убивать и мучать себе подобных, всю жизнь фанатически стремиться к материальным благам. Нельзя сказать, чтобы молодой человек не любил людей. Особой нелюбви к людям он не обнаруживал. Но он не уважал людей, считал их грязными и ничтожными животными. Мякишев любил только одного человека в мире – свою маму. Но, любя ее, он в глубине души не уважал Изольду Константиновну – за ее постоянное мышинное мельтешение.

Зося Мякишева больше всего хотела, чтобы ее сынок был счастлив, и она ни минуты не сомневалась в том, что только она способна организовать ему такое счастье. Вскоре заботливая мама нашла ему невесту, порядочную девушку, живущую в соседнем подъезде. Изольда Константиновна дружила с ее мамой, и две женщины давно уже мечтали познакомиться своих детей.

Знакомство состоялось, когда Мякишев уже был доцентом, а Леночка – аспиранткой, правда на другой кафедре и в другом вузе. Молодые жили сразу на две квартиры – перебегали из одного подъезда в другой. В каждой из квартир у них была своя комната.

А вскоре родился ребенок – худенький, subtilный Аркаша. У Леночки не было молока, и Рудик кормил его молочной смесью «Туттели» из голубой и розовой бутылочек. Мальчик плохо спал ночью, часто просыпался, капризничал. Рудик страдал от хронического недосыпания. Но рядом с ним была его мама. «Потерпи, сынок!» – говорила она ему. И Мякишев терпел.

Аркаша оказался куда талантливее Рудика. У него определили абсолютный слух, и Зося устроила его все в ту же музыкальную школу, в которой в свое время учился Рудик, но уже по классу скрипки.

Леночка закончила диссертацию, защитилась и уехала на стажировку в Германию. Это стажировка оказалась долгой – длиною в жизнь. Вскоре и Ленина мама, подруга Зоси, переехала в Мюнхен, а Изольда Константиновна стала жить с Рудиком и с Аркашей.

Аркаша не был похож на Рудика. Он любил бабушку, но не слушался ее. Поступил после музыкальной школы в Гнесинское училище, потом – в аспирантуру Московской консерватории, женился на москвичке и полностью осел в столице.

Изольда Константиновна не ожидала, что мальчик так далеко пойдет по музыкальной стезе.

«Не вернется к нам Аркашка!» – часто повторял ей постаревший Рудик.

«Нет, вернется! Обязательно вернется! – возражала Изольда Константиновна. – Надоест ему Москва эта. Обязательно вернется. Вот увидишь. Все хорошо будет. Потерпи, сынок!»

Изольда Константиновна была мужественной женщиной и, когда однажды Рудик обнаружил ее лежащей в параличе на лестничной площадке, первым делом улыбнулась и неотчетливо, как-то в нос, произнесла: «Ничего страшного. Я скоро поправлюсь. Ты только потерпи, сынок».

Она прожила еще восемь лет – в полном сознании, хотя говорила плохо, и посторонние люди понимали ее с трудом...

Рудик жалел маму и делал все необходимое, чтобы облегчить ее жизнь. Купил ей ходунки, каждый день выводил ее на прогулку. Изольда Константиновна воспитала хорошего человека.

Но Рудик вовсе не считал себя хорошим. Он не считал себя никем. Чем старше становился Рудольф Сергеевич, чем больше седых волос появлялось в его неопрятной шевелюре, тем загадочнее, тем необъяснимей казалась ему жизнь и все атрибуты ее составляющие.

Сама бессмыслица человеческого существования казалась ему настолько понятной, настолько аксиоматичной, что не вызывала никаких сомнений. И все же он твердо верил, что надо терпеть.

И каждое утро, даже после смерти мамы, когда он остался совсем один, начинал с того, что повторял себе: «Потерпи, сынок!»

Он уже забыл об Аркашке и считал сам себя своим сыном.

Кстати, само слово «сынок» удивительно подходило к Рудику.

Одна его соседка, встретившись со мной возле лифта, долго говорила о том, что и в семьдесят лет он выглядит удивительно молодо.

КУЛЕБЯКА С НЕМЕЦКИМ АКЦЕНТОМ

Плохо спал ночью Коля Станкевич, и была у него для этого особая причина. Предстоял ему очень напряженный и ответственный день. Именно в этот день должна была состояться его долгожданная встреча с Государем.

Раньше Коля никогда не видел царя. Государь глядел на него с огромного портрета в рекреации, на котором был изображен в парадном мундире с эполетами. Большие серые глаза ребенка смотрели, казалось, в глубину Колиной души и, проходя мимо портрета, мальчик всегда старался быть хоть немного стройнее и мужественней. Ему так хотелось оправдать доверие этого человека, который, по всей вероятности, знал то, о чем никто никогда не догадывался!

День, казалось, не предвещал ничего особенного. Пасмурное, протертое до дыр петербургское небо, накрапывающее вечным мелким дождиком, холодный, пронизывающий ветер на плацу.

Утренние занятия никто и не думал отменять. После изматывающей строевой подготовки распаренные мальчики слушали сухую речь педантичного немца Штольца.

– Просклоняйте, Станкевич, глагол *versterben*, – проговорил Штольц сухим голосом робота, и Коля, встав из-за парты, старательно проговорил:

– *Ich versterbe, du verstirbst, er verstirbt, wir versterben...*

Умирать в этой жизни мог кто угодно, но только не он, не Коля Станкевич. Было очень странно, что Штольц выбрал именно этот глагол, да еще в такой день.

Небо катастрофически не хотело светлеть, а в железной гортани Штольца настойчиво перемещались несмазанные коленчатые валы.

Немецкого филистера сменил не менее сухой и педантичный математик Веревкин по прозвищу Бегемот. Костлявой рукой с синеватыми ногтями он рисовал на доске уродливые однообразные треугольники, катеты и гипотенузы, постоянно ронял мел на пол, со старческим сопением поднимал его и снова изображал крошащимся мелом причудливые углы, которые вводили мальчиков в невыносимую сонную скуку.

Предположим, предположим,
Бегемот на стол положен.
По его большому пузу
Проведем гипотенузу.

Эту песенку сочинили кадеты лет двадцать назад, и она до сих пор была популярна.

Румяный словесник Румянцев, любимец корпуса, либерал и душка, провел последний из утренних уроков.

Николай Павлович в этот день был в ударе. Он сказал, что в честь приезда Государя никого сегодня спрашивать не будет. Крупный, одутловатый, растрепанный, с потным двойным подбородком, совершенно не военный, чем-то похожий на писателя Александра Дюма, в состоянии особого подъема, высоким юношеским дискантом причудливо, чуть-чуть истерически читал он стихи Лермонтова.

Никто никогда бы не подумал, слушая это чтение за закрытой дверью, что этот театральный поставленный дискант принадлежит пожилому одутловатому человеку, страдающему подагрой и грудной жабой. Никто не знал тогда, да и знать не мог, что через два года Румянцев скоропостижно умрет от апоплексического удара.

Наконец, литератор закончил патетическое чтение и, сойдя с кафедры, вытер влажный лоб чистейшим дамским платком с кружевными оборками.

Продолжил он уже совершенно другим голосом, менее патетичным, но более проникновенным и человечным, более домашним и доверительным, в котором тем не менее уже зазвучали наполненные тяжелым железом мужские, весомые, свинцово-оловянные нотки

– Сегодня вас ждет особенное событие, и я уверен, что этот день запомнится вам навсегда. Вы должны помнить, что где бы ни служили, какое поприще ни выбрали в дальнейшем, вы должны высоко нести знамя русского дворянства и русского воинства, знамя непоколебимой приверженности Престолу, с пользой и с честью служить Государю.

Все эти слова Коля слышал часто, и они не представляли для него ничего нового. Но в том и заключался парадокс этих слов, что, несмотря на всю их известность и даже казенность, они впечатляли всех присутствующих до глубины души.

После обеда в рекреации поставили три длинных стола, соединив их в виде буквы П. Послеобеденного часового отдыха по случаю приезда Государя не было.

Кадетов вывели во двор училища и построили повзводно.

Нудный дождик продолжал свое безобразие. Но все знали и чувствовали – с минуты на минуту должен появиться Он.

Царский лимузин как-то совсем неожиданно въехал во двор училища.

Коля сразу увидел Государя, сидящего на заднем сиденье, и поразился его маленькому росту и какой-то очень знакомой военной фигуре. Он часто видел таких офицеров и в крепости Свеаборг, где служил его отец, и в училище.

Во всех движениях Государя, самых будничных, самых повседневных, заключалось что-то совсем не царское. Он не только не отличался от прочих людей, но был, казалось, самым что ни на есть обыкновенным человеком.

Царица, сидящая рядом, выглядела тоже не совсем по-царски. Под ее большими глазами заметны были синеватые мешки, движения рук, обтянутых длинными кружевными перчатками бежевого цвета, выдавали общую нервозность и напряженность. Она казалась немного уставшей, и Коля никак не мог понять, от чего могла устать Государыня. Наверное, Он делился с ней своими государственными проблемами, и она разделяла его хлопоты, надежды и чаяния.

Коля напряженно вглядывался в красивые лица великих княжон. Они сидели перед царской четой, позади водителя и элегантного пожилого человека в шляпе и пенсне, чем-то напоминающего англичанина. Та, которая была выше ростом, несомненно, была Татьяна. Она во всем

походила на Государыню. А кто была младшая сестра? Об этом Коля мог только догадываться, и он почему-то решил, что это была Ольга.

«Англичанин» резво выпрыгнул из лимузина, подал руку сначала Татьяне, потом другой княжне. Третьей выходила из машины Императрица.

Государь вместе с начальником училища обошел строй кадетов, громко прокричал приветствие.

– Уррра-а-а! – в один голос зарокотали кадеты, и это было уже не издевательское «Дурррак!», которым они часто отвечали на гортанный окрик начальника, а полноводное, целокупное выражение любви и преданности.

Праздничный обед проходил без царственных персон. Только в конце его на пороге зала появилась кухонная девушка с серебряным подносом, одетая по случаю приезда государя в красивый вышитый передник. В руках она держала поднос с кусочками нарезанной кулебяки.

Кадеты решительно подходили к подносу, подошел к нему и Коля.

В этом момент в проеме двери неожиданно появилась Государыня, и стоявший возле подноса Станкевич чуть не столкнулся с ней. В его руке уже был недоеденный кусок, и ему стало неловко, когда Государыня обратила внимание, как он судорожно тянется за другим куском.

В корпусе плохо кормили, и кадеты всегда испытывали голод.

Государыня, однако, сразу поняла ситуацию, улыбнулась тонкими губами и, когда Коля в нерешительности одернул руку, проговорила теплым низким голосом

– Мальшик, мальшик, возьми есцо кусочек.

Почему-то больше всего он был поражен ее немецким акцентом.

Коля нерешительно протянул руку и взял с медного подноса криво нарезанный кусочек с вываливающимся из полусырого теста жестким жилистым мясом.

Через несколько минут он уже считал, что именно так и должна говорить Государыня, что немецкий акцент делает ее еще ближе всем нам, русским людям.

До чего же были славны, до чего были человечны все они – и царь, и царица, и красивые девочки.

И никак не мог представить себе Коля Станкевич, что через пять лет вся царская семья будет расстреляна, а через восемь лет он, двадцатилетний поручик, служивший у Врангеля, не найдет своего места на борту парохода, отплывающего в Стамбул от Графской пристани Севастополя.

Не знал он и того, что новая, советская власть откроет ему глаза на суть самодержавия, что он вступит в коммунистическую партию, дослужится до полковника и до конца своей жизни не усомнится в том, что только коммунистическое будущее может быть у человечества.

– Папа, папочка! Ну расскажи, пожалуйста, как тебя царица кулебякой угощала! – в сотый раз просила его дочка, худая и желчная старая дева, почитающая своего папу, как некое языческое божество.

И Николай Григорьевич, беззубый старик, одетый в дырявый домашний халат, в сотый раз, по-клоунски кривляясь, рассказывал Наденьке о кусочке кулебяки, в сотый раз изображая немецкий акцент несчастной Аликс.